

А 301  
172

1

801-18  
1079

М. И. Мандесъ.

**С А Ф О.**

*Сверкъ изъ исторіи грегеской культуры.*

— о с —



# Сафо.

Стихи из истории греческой культуры.

„*Lathe bíōsas*“ — таков девиз, поставленный утомленному и разлагавшемуся греческому миру эпикурейцами. Проживи так, чтобы никто и не заметил твоего существования.

Но для того, чтобы дойти до этого идеала отчаяния, греки должны были пройти через ряд великих подвигов и позорных падений. Раньше, чем отказаться от деятельности, они прошли через длинный период могучей кудатурной работы.

А между тем уже за много лет до появления эпикурейского учения тот же идеал, та же цель были поставлены целью, пожалуй, большей половиной человеческого рода, — женщины. Живи, не оставляя за собой никакого следа кроме произведенного тобой на свет потомства, — твоей лучшей, твоей единственной славы — вот круг, из которого не было выхода греческой женщине.

Отношение к ней могло меняться и меняться по местам, народам, эпохам. Господь уверял, что зло в мир появилось оттого, что Зевс послал людям прекрасную, одаренную всеми чарами женского обольщения Пандору. Древнейшая версия этого предания ничего не знает о пресловутом сосуде, заключавшем в себя все существующие беды и будто бы открытому на несчастье людям Пандорой, — это позднейшее хитроумное наслепление. Творец древнейшей формы предания был более груб, наивен, откровенен: женщина есть зло сама по себе, как женщина — тем больше зло, чем она прекраснее.

Злой Гипнонакт уверял, что жена доставляет мужу два счастливых дня, — когда она входит в его дом в день свадьбы и когда ее из него выносят в день похорон.

Эврипид, — в жизни горячий поклонник женщин, знавший их внутренний душевный мир лучше кого бы то ни было из греков, — в поэзии является их злейшим врагом. Его Гипполит (в трагедии того же имени, послужившей первообразом для знаменитой расиновской „Федры“) не может простить Зевсу создание этого злого рода, женщины. Правда, он, как сожалел своему, не может отрицать того, что женщины нужны для продолжения человеческого рода, но ведь Зевс всемогущ, — стоило ему захотеть, он сумел бы устроить так, чтобы дети появлялись на свет божь без участия женщин. Люди покупали бы в храмах сьма будущих детей за определенную плату, смотря по качеству, и в дом своем жили бы свободными, без тяжкой обузы в виде жены.

Комики неистощимы в своих напаках на женщин. Аристофан посвятил ряд комедий специально описанию женских пороков. Остроумный Менаандр считает женщину во всяком случае злом, — вся задача разумного человека заключается в том, чтобы выбрать возможно меньшее. И рядом с этим мы находим у древних и удивительная по ижности и благородству выражения, показывающая, как высоко умели ценить женщины греки, — ведь они же создали несравненный образ Антигоны!

Теогинид, обращаясь к своему любимцу Киру, уверяет его, что он не найдет в жизни ничего более „сладкого“, чем хорошая жена.

Ксенофонт в своем поучительном повествовании о воспитании Кира рассказывает между прочим роман Аб-радата и Пантеи. Пантея — акой же недостающей вышней обраец героической добродетели, как Антигона. Но Ксенофонт заходит дальше Софокла. Абрадате молить отца богов и людей сделать его достойным Пантеи. Мужина может быть и недостойным женщины — дальше этого греки не заходили.

Взгляды на женщину менялись в самой Греции. Не мудрено, что различные исследователи положения женщины в древнем мире могли прийти к самым различным выводам; в то время как одни рисовали это положение элизуом, другим оно казалось тартаром. Но при всех отличиях, какие не могли не существовать на протяжении пестрого греческого мира, на протяжении тысячелетнего развития греческой культуры, одно было вечно неизменно в одном сходились и гомеровский рыцарь, и современник Перикла, и ученик Платона и Аристотеля, и хитрый Стаекулус римских времен: *lathe bíōsas*, — живи незамтно, живи в тсном кругу своего дома, не проявляя себя во в, как личность, ибо ты и не личность, ибо женщинам все слдует длат при посредстве мужчин, если он хотя бы соблюдать вольную мудрости (Эврипид). Символ женщины черепаха (Плутарх), — она всегда носить на себя свой дом, никогда не выходит из него, — кое гд только фигурально, почти всегда — в точном смысле этого слова.

Гомеровские поэмы выводят пред нами цлую галерею прекрасных женских типов. Перед глазами читателя проходят и трогательная в своей любви к мужу Андромаха, и ижная Брионеда, и величавая царица и мать, госпожа и повелительница своего дома Арета, и наивно-чистая Навсикая, и пассивно-героическая Пенелопа, идеал

древне-греческой, супруги и матери. Сын никогда не отказывает ей в должном почтении, но стоит ей попытаться выйти из своей пассивной роли, стоит появиться среди женихов, чтобы самой уловить их, — и почтительный сын превращается в властного опекуна своей матери, твердо приказывающего ей:

.... Удались, занимаясь, как должно, порядком хозяйства, Пряжей, тканьем, наблюдай, чтобы рабыни прилежны в работ. Были своей, говорить же не женское дло, а дло

Мужа, а нит мое. У себя я один повелитель. Точно так же, как софокловский Аякс резко отвечает своей Текмес, упрашивающей его не отправляться на задуманное им безумное дло, все то же ввчной псною: „Молчи, женщина, — женщину украшает молчанье!“...

Ямбограф Семонид дает цлую женскую зоологию всю построенную на одном основном принципе: женщина и разум — две несовместимы величины. Различная женщины происходят от свиньи, собаки, земли, моря, осла, ласки, лошади, обезьяны, — все он — великое зло, лучшая женщина происходит от пчелы, счастливы тот, кому достается такая. В чем же однако ее достоинство? В том, что она рождает хороших детей и не выходит из дому. А для того, чтобы она поменьше из него выходила есть простое, удобное, испытанное средство. Фокилад его наиз и рекомендует по крайней мере по отношению к дшущих: держать за запором.

Эсхил вырисовывает во весь рост могучий образ Клитемнестры, величественной при всей своей преступности, истинной царицы, рядом с которой ее возлюбленный Эгист кажется беззачетно жалким. Но и Клитемнестра считает необходимым соблюдать тот этикет, который предписывает греческой жещи путешествовать, предоставляя ршать и действовать мужи. Ее роль — роль приватной хозяйки, которой надлежит достойным царского дома образом принять гостей.

Прелестную картинку внутренней жизни аинской семьи рисует Ксенофонт в своем сочинении об управлении домом. Каковы общие руководящие взгляды трактата, ясно уже из того сравнения, которым вводит свое рассуждение главное лицо диалога Сократ, сторонник наиболее «либерального» взгляда на женщину: если скверна овца, мы обвиняем пастуха; за недостатки лошади мы возлагаем ответственность на всадника; за недостатки жены должна отвечать не она, а ее муж. Это уже и само по себе, с точки зрения греческих взглядов, новость — конечно, не безответности жены, а ответственности мужа. Муж знает обыкновенно только об обязанностях жены. Нтъ свободного существа, на которое возлагалось бы столько обязанностей, сколько их несет жена, — нтъ существа, с которым муж меньше разговаривал бы, чем с женой.

Ксенофонт рисует блистательное исключение, — идеальный союз. Идеал этот не особенно высок, поразительное в нем заключается только в том, что на этот раз пастух сознал свою ответственность за вверенную ему овцу, — муж счел своим долгом воспитать свою жену. А как она нуждается в воспитании! Ей было пятнадцать лет, когда родители выдали ее замуж. Она умела только соткать платье и раздать работу рабыням. Всю свою жизнь она провела под заботливым надзором род-

ной семьи, направленным на то, чтобы она „возможно меньше видела, возможно меньше слышала, возможно меньше спрашивала“. И этому та наивно невежественному, совершенно неподготовленному к жизни ребенку муж начинал развивать свою теорию совместной трудовой жизни, совместной работы на общее благо дома и семьи, — его он призывает к задач союзника и товарища! Неудивительно, если бдный ребенок безпомощно складывает свои слабые ручки и трогательно спрашивает: „чем могу тебе помочь? Какая моя сила, в чем может быть мое значение? Все зависит от одного тебя, а мое дло, — так учила меня матушка, — одно: быть уличницей“. Именно этот отънок имеет здесь непереводимое греческое слово „*sofrón*“.

Такое положение, таковы взгляды в Афинах, — в том центр, который создает устатную атмосферу Греции. В существе они те же, хотя и в несколько ослабленном и измененном виде, повсюду. Нисколько большей свободой пользуется женщина у дорян. Мы знаем только, как жилось ей в Спарте, — здесь дшущка жила вне дома, как и юноша, но Спарта в культурную жизнь Греции не внесла ничего кроме хороших рядовых мужи и превосходных кормилиц-женщин. Свободный также была, впрочем, женщина и у Долян, но и тут мы почти ничего о ней не знаем.

Итак — живи незамтно. в дом и для дома, в семью и для семьи, за стной, отгораживающей тебя от внешнего мира, — таковы те железные цепи, которые налагались на жизнь греческой женщины греческими воззрениями.

И все таки находились отдельные представительницы женской половины человечества, выходившие за пределы этого круга, прорывавшие освященное вками правило *lathe bíōsas*, прожившая очень замтно и для современников, и для потомства. Член всего пути женщины, выходящей за грань счастливой безвестности, проходил через дом гетеры; иногда он вводил в храм безмертия, иногда проходил «вков завистливую даль».

Первая и наиболее великая из тех женщин, для которых раскрылся этот второй путь, — Сафо. Солон рассказывает предание, услышав на пиру псно Сафо, поспешил заучить ее, „чтобы не умереть, не зная ее“. Слово «поэтесса» без ближайшего обозначения имени обозначало Сафо, как тот, кто, не называя имени, говорил о поэте, имела в виду Гомера. Платон называл ее десятой музой, Эрес и Митилена, города родного ее Лесбоса, украшали свои монеты ее изображением, ее статуя стояла на площадях далеких от ее родины городов. Катулл переводил ее произведения, Гораций подражал размерам и содержанию ее стихотворений, Овидий воспеивал ее самое, — и до наших дней тянется ряд произведений, изображающих ее и ее судьбу.

Правда, эта слава досталась ей или, лучше сказать, ей памяти не дешево. Величайшая из поэтесс была и наиболее оклеветанной из женщин. За сльбость, с которой она, — сама, пожалуй, того не сознавая — вышла из роковой стны беззастенчивости, она заплатила цлым потоком грязи, излитым на нее литературной сплетней. На ней как будто желали показать справедливость извстного правила греческой мудрости: лучшая женщина — это та, о которой меньше всего говорят.

При жизни, пожалуй, о Сафо и немного говорили. Она принадлежала к таинственной эпохе, когда личность только едва начинает сознавать свою особность, когда она прячется за свое дло. Золотая дшущка поют псно



Сафо, как поют сотни народных пьесен, мало интересуются автором. Историко-литературный интерес еще не проснулся. Литература пока только творит, но не изучает созданного. Публика наслаждается созданным, но не анализирует его. Живут произведения, живут имена авторов, память об их личности исчезает. Вот почему мы почти ничего не знаем о жизни Арифдока, Алкиана, Алкея, — почти ничего кроме незначительных замечаний не знаем и о Сафо. Даже время ее рождения, — конец 7-го века до Р.Х., — может быть восстановлено только по догадкам, основанным на случайных замечаниях, встречающихся среди тех жалких отрывков, которые по счастью еще уцелели из богатого оставленного ею литературного наследия.

Сафо, — на ее родном эолийском наречии ее звали Псапфо, — родилась в маленьком городке Эресе, на острове Лесбос. Мы мало знаем историю этого острова. Но греки не разделяли мнений Шиллера, — греки предпочитают, если государство непохоже на женщину, и о нем говорят, — и чем больше говорят о родном городе грека, тем больше радуется его сердце. Лесбос славился своим благословенным климатом, своим горячим вином, своими пьесами, красотой своих женщин, — политически он никогда не играет крупной роли. Он входит в аийский морской союз, как один из наиболее богатых и важных его членов, но постоянно не прочь покомкетничать с Спартой. Его горчие, легко подлинные граждане очень легко ршались на восстание против притязательного господства аийцев, но аийцы сравнительно легко подавляли эти восстания. Лесбос умел довести врага до крайней степени раздражения, но не умел создать для него серьезной опасности.

На острове, — и во время аийского господства, и за предшествующее ему время, к которому относится жизнь Сафо, — царит вечно непрерывное волнение. Аристократы и демократы поочередно ржут и изгоняют друг друга, — в этом вся история острова. Ко времени Сафо эта взаимная рзня доходила до своего апогея.

На острове, как и везд в Греции в древнейшую эпоху, господствуют знатные роды, — рыцарская знать, желающая жить и наслаждаться жизнью. Но жить — и хорошо жить — желает и народ, — те вышедшие из него люди, которым удачная торговля и мореходство дали на то средства. Эти люди легко находят себя вождя, часто из среды тех же отважных, но легко и безпринципно живущих аристократов и на остров киится война. Аристократы побеждают, — и эта победа дает им на короткое время возможность жить, как им жилось раньше; но народ не успокаивается и опять начинается борьба, и опять льется кровь, — аристократы бегут с родных пепелищ туда, где нужен их добрый меч, чтобы продать его тому, кто лучше заплатит: для хорошего бойца всегда найдется покупатель. А дома буря далеко еще не улеглась, — и только окончательно утомившись безконечной поножовщиной, враждующие стороны ршались помириться и поручают совершить дело примирения одному из наиболее испытанных в боях и делах правления граждан, — мудрецу Питтаку, герою народных пьесен и преданий. Питтак стремится разумно примирить несогласия противоречия, он весь отдается своему делу, с полным безкорыстием истинного мудреца. На время наступает мир, который только неохотно и не без попыток нарушить его переносят знатные герои копы, желающие воли только для самих себя.

Среди этой насыщенной ненавистью и кровью атмосферы живет вся такая широко и весело. Суровые идеалы дорийской знати с ее строгой классовой моралью и военной выдержкой не могли заглушить на эолийской почве богатства острова старых гомеровских традиций. Аристократы Лесбоса были прямыми потомками жизнерадостных и немого легкомысленных гомеровских героев. Буря воет, высокие волны отовсюду вздымают свои гребни, — среди шума бури по потемневшему морю несутся без руля, с разорванными парусами корабли, но те, кто вверили свою жизнь этому утлому кораблю, не теряют присутствия духа, ибо не слдет поддаться несчастью и лучше лхарство в бд — пить и опьяняться, — пить, ибо Вакх и Семела дали людям вино на утло сердец, пить, когда гремит буря войны, пить, когда на двор трещит мороз, чтобы убит долгую зимнюю ночь у привитого горящего огня, пить, когда растрачиваясь от жары земля жаждет влаги, когда Сирлус жжет голову и колени, когда в сухом воздухе раздается сладостная музыка кузнечика, — пить, пить и любить. Недаром боги даровали Лесбосу прекрасное вино и прекрасных женщин, недаром на Лесбосе краше, чем где бы то ни было в Греции, звучат пьесы, — пьесы любви, пьесы веселья.

Свободные от душной монотонности жизни дорян, не затронутые тем глубоким утилитарным движением, которое одуотворило жизнь ионян, живут лесбосцы своей легкой, не весьма нравственной жизнью, среди сль наслаждений, которая им доступна, разделяя их и со своими женщинами. Радости любви — высшая радость, которая доступна лесбосцу, — и на этом пол в остров больше свободы, чем в остальной Греции. Культ красоты и любви широко процветает на нем. В храме Геры ежегодно происходят состязания, — женщины спорят из-за вьны красоты, — премированные красавицы не избранны наши временем.

На этой же почве распускается пышный цвеек эолийской лирики. Люди везд и всегда поют, но где поют они свободно, как птицы, вне рамок определенной музыкально-литературной традиции, вне строго установленных правил? Так называемая безыскусственная народная поэзия также подчинена им, как лирика наиболее искусственного из миннезингеров, — быть может, и больше. И чем дальше вглубь истории поэзии, — в предельно доступных нашему непосредственному наблюдению, — увидим мы, тем сильнее будет эта связанность поэзии, эта ее зависимость от традиции и правил.

Вся греческая поэзия выходит из школы, как из нея же по самому своему существу не может не выходить и музыка. Эолийская пьесы есть неразрывное соединение слова, ритма и мелодии. Как и вся остальная поэзия и музыка, она развивается в специальной музыкально-поэтической школе. Мастер окружен учениками, которые учатся у него, как учатся ученики любого художника чинквечестиста.

Все, что мы по существу знаем достоверного о Сафо, и заключается в том, что она сочиняла пьесы, что у нея была школа, были ученицы, "hetairai", "подруги". Из этих пьесен, из факта существования школы, из сль сплетень построено все, что рассказывала древность о нашей поэтессе. О самой школе мы знаем очень немного, знаем только из самых пьесен имена некоторых из подруг, знаем из литературной традиции, что школа Сафо привлекала поклонников поэзии и ее великой представительницы

из самых различных областей Греции. Всего этого очень мало, но значение и роль школы все таки ясны.

Никакое празднество в Греции не обходится без торжественного хора, никакой хор не обходится без хорейстера. Хорейстером был напр. Алкиан; мы имеем отрывки его пьесен, в которых он обращается к дьшам своего хора.

Такие торжественные хоры существовали и на Лесбосе, — хоры дьшам; хорейстером их была Сафо. В ее отрывках музам дом собирались ее подруги ученицы для подготовки к исполнению праздничного хора, для посвящения в тайны поэзии и музыки.

Между учительницей и ученицами, естественно, образовалась близкая связь. Но какова эта связь, каков ее характер, ее значение, — этот вопрос самый больной во всей истории Сафо. Его нужно ршить прямо, открыто и честно, даже если бы это ршение и разрушило тот возвышенный образ Сафо, который так дорог всякому, любящему ее поэзию.

Отвть нам дать сама поэтесса, — традиция нас только сбавала бы.

Судьба сохранила нам цликком, или почти цликком, два стихотворения Сафо. Оба они говорят о любви. Первое из них будет приведено впоследствии, приведем теперь второе:

О, как боги вь высоту небесной,  
Счастливы тот, кто образ твой прелестный  
Непрестанно видеть пред собой,  
Сладкий звук рчей твоих вливает  
И в улыбку уст твоих читает,  
Как глубоко он любим тобой!  
Лишь в уи твою сердце пронесется  
Предо мной, как сердце вдруг забьется,  
На моих устах замрут слова,  
И язык мой станет ным, как камень,  
Пробужий по членам бурный пламень,  
Вся вь огнь кружится голова.  
Шум вь ушах, туман застелет зрьне,  
И вь тревожном трепете волненья  
На ногах не вь силах я стоять;  
Я холодним потом обливаюсь,  
Как трава поблекшая склоняюсь,  
Гасну, так, не могу дышать.

Перевод принадлежит перу Э. Е. Корша. Перевод, несомненно, сдлан превосходно, но он все таки несколько ргшит в двух отношениях. Во первых, он ослабляет бурно-чувственный характер подлинника. Это не любовь, это какая-то горячая, неотраимо захватывающая влюбленного. Всьм существом своим, всьм своим могучим, здоровым, согртым горячей южной кровью тлом, всьм нервами, всьм порами реагирует он на впечатленье, производимое на него видом любимого существа. Тут не может быть борьбы, не может быть сдержанности, не может быть и попытки рефлекс. Это всепожирующий пожар, — и этот пожар описан с здоровым, наивным реализмом, найболее былинным описанием Чурилы Пленковича и воблжающихся в него женщин, — конечно эти описания гораздо более грубы по форм, но, сущность же, — та же чувственная страсть во всей ее безудержности.

Но есть и другая ошибка перевода. Перечтите стихотворение, — оно стоит того, стоит многократного прочтения, — вы не замтите в нем ничего необычного. Одно из

тысяч подобных стихотворений, особенно хорошо написанное, поражающее силой и непосредственностью чувства, — и только. Катулл перевел его с некоторыми дополнениями, — почти точно так же, как Э. Е. Корш, и его перевод не оснований вашего внимания.

А может быть в этом стихотворении в подлинном виде есть особенность, которая ставит втупик каждого современного читателя, которая вызвала среди современных изследователей цлую бурю споров, — стихотворение посвящено женщине, женщинам, мы имеем в нем описание страсти, которую питает женщина к женщинам. Этот факт неоспорим, — он подтверждается нами другими отрывками нашей поэтессы. Вь многообразной истории извращений человеческого чувства есть и такое, — даже в Греции оно встречается не часто, но оно есть. Это новая загадка для историка-психолога, загадка тем более сложная, что это извращение находится в рзном противоречии со всьм тем, что мы знаем о душевной жизни Сафо. Человеческая природа сложна всьм наших соображений. Мы должны признать существование многого из того, чего мы не понимаем. На нашей поэтессе лежит темное пятно, — и смыть его нельзя, несмотря на рыцарскую попытку Велькера освободить Сафо от господствующего предрассудка. Когда старый честный Schulmeister Теодор Кант в порыве восторга перед великим поэтическим гением доходит до того, что в лиц Сафо приветствует у нас уважаемого коллегу, учительницу, воспитывающую грядущую колыбель и относящуюся к своим ученицам с теплым любовным чувством истинного педагога, то это более трогательно, чем справедливо. Видеть в отношении Сафо к ее подругам аналогю той игр в любовные отношения, которая так характерна для Сократа, которая так опозитирована и углублена в "Федры" и "Пир" Платона, значит смивать различные эпохи, различные типы отношений, различные миропонимания. Вся пылкость греческой фантазии, вся та яркость красок, которой обладает палитра Сафо, не может создать из чисто духовных, "платонических" отношений ту картину рзко чувственной страсти, которую рисует нам стихотворение Сафо. Все, что приводит вь защиту Сафо Велькер, длает великую честь ему, но не оправдывает Сафо и бросает очень темную тнь на нравы Греции. Правда, в древней литературе мы почти, — но только почти, — не находим указаний на эту сторону жизни Сафо, но это будет доказательством не ее незапятнанности, а только равнодушия древности к тем извращениям естественного чувства любви, которая вызывают в нас ужас и отвращение. Древняя сиплет на счет Сафо развивалась не на этой почве — она нашла себя другой повод обругать Сафо всей грязью гнусной клеветы. Быть может, ей этой грязи казалось достаточно.

Такова, значит, была школа Сафо — школа поэзии, музыки, страсти — страсти не всегда чистой, но в этой школе развивался эолийская поэзия, и пятно, лежащее на поэтессе, не пятнает ее поэзии, — поэзия сильной, глубоко чувствующей личности, первого образца истинной лирики.

Лирика, по нашим учебникам, всегда субъективна. Это правда, но не всегда она субъективна вь одинаковой мьре. Вь своих началах греческая лирика служила отголоском одних только наиболее общих, — лучше сказать, наиболее общественных чувств. Патриотизм, героизм воина, партийная ненависть, — все то, что человек имеет общего с другими, вь чем он чувствует свою с другими общ-

ность,—вот содержание того, о чем поют Каллин, Тиртей, Солон. Ты стороны жизни, ты чувства, в которых человек сознает свою от других особность не имать в глазах древнего поэта такого крупного значения, чтобы он испытывать потребность излить их.

Здесь не место следить за развитием субъективности в греческой лирике. Для нашей цели достаточно будет установить, что эолийская пьеса достигает значительной высоты. И любовь есть чувство общее всем людям, и она у греков является далеко не индивидуализованной, и здесь греки изображают скорбь типичного любящего, чья любовь индивида, но это происходит оттого, что самая личность мало индивидуализована, что она мало чувствует себя таковой в своей особности от других. Но все таки любить человека, как «я», не как часть группы, любить для себя, вне своей связи и общности с тем, чья любовь, для которого принадлежит. Его любовь есть *любовь*, *любовь*, *любовь* личное, индивидуальное чувство, хотя мало отличающееся от подобного же чувства окружающих его людей, как мало отличается от них и он сам.

С этими ограничениями эолийская лирика может быть названа лирикой вполне субъективной. Она отмежевала себя от углоу, который отмежевала в полное распоряжение личности общественная группа, в особенности общественная группа ионийско-эолийской культуры с ее сравнительно слабым развитием государственности. Мой дом, моя семья, моя возлюбленная, моя радость, мое горе, моя любовь, моя ненависть—вот ее содержание. Немного людей которые умейт так безраздельно ненавидеть, как Феогнид, но эта ненависть не личности к личности, а партии к партии, оскорбленного в своих классовых правах и интересах аристократа к демосу. И Алкей ненавидит Миртила, главу враждебной ему демократической партии, но эта ненависть уже спустилась из атмосферы партийных интересов в область личного чувства, это ненависть Алкея к Миртилу, и лично, всей силой своей легко возбудимой натуры ненавидит он своего врага, лично торжествует он, готов пить и дико плясать, когда этот враг умирает. Но Алкей боевая натура; жизнь клочья бьется вокруг него, подвижная, бурная, хотя и неглубокая жизнь небольшой, мучимой в партийной борьбе греческой республики. Общественные интересы иной раз против воли выводят его из круга личной жизни, личных интересов.

Сафо—женщина, греческая женщина, и женщиной она остается. Политика не для нея. Если предание говорит о том, что и ее борьба партий заставила оставить родину, то это только догадка, во всяком случае это предание не говорит о личном участии ее в политической борьбе. Сафо остается в своем доме; личная жизнь ее сердца—вот тот круг, которым исчерпывается содержание ее поэзии. В этом ограничении ее сила. Она развила до полного совершенства именно тот элемент, в котором лежит отличительная черта эолийской лирики, элемент непосредственной жизни личного чувства.

Личность в центре мира, не как определяющий его смысл и значение фактор, а как отражающее его зеркало,—в этом лежит существо эолийской лирики. Но зеркало это само по себе не безразлично, оно не отражает лучей неизменными, а окрашивает их в свой строго определенный цвет. Мир представляется поэту не таким, каков он объективно есть, а таким, каким поэт его желает видеть и может видеть при данном состоянии своих душевных сил, своих восприимчивых способ-

ностей. Он отражается в нем не весь а постольку, поскольку он входит в соприкосновение с миром его мечтаний, желаний, стремлений, то положительно, то отрицательно, но счастлившей гармонией и в нарушающей душевное равновесие дисгармонией.

Эпик видит мир другими глазами; он существует для него сам в себе, без отношения к его интересам, к его жизни; он изображает его, не расщепляя красками, которые существуют только в его душе. Вошло в обычай отрицать у древних чутке природы,—это далеко невярно. В иную эпоху Гомера больше понимания ее, чья на многих страницах столь модных в настоящее время описаний; но у древних в природу не влита человеческая душа, и человеческая душа не сливалась у них с природой. Поэт описывает падение оливкового дерева, долго стоявшего во всей своей красоте, описывает бурю, мгновенно вырвавшую его с корнями, но дерево у него не стонет, дерево у него не живет. Он увидит картину, она отпечаталась в его фантазии, и он описал ее. Ему, очевидно, жаль этого дерева, но эта жалость не выливается в слова, потому что поэт не умейт еще вносить в картину настроение. Грозно и спокойно, как тучи на вершинах горы, стоят данайцы,—и тучи мастерски описаны, но в душах данайцев их нет. Два картины вырисовались в душе художника,—параллельная, но не слитная.

Совершенно иначе видят и представляют себя природу поэты лирики,—совершенно иначе изображают они ее,—она существует для них не сама по себе, а только в отношении к тому центру, к которому обращаются и из которого исходят все их мысли,—их собственной личности. Параллельные образы сливаются. Лирики разгадали тайну того языка, на котором природа говорит душам человека. Тут уже не картинки природы, а ее настроения. Алкей рассказывает, как спит природа. Мы не знаем связи, в которой находится описание,—до нас дошел только отрывок,—но настроение охватывает нас с той же силой, как в знаменитом геттесковом *Wander Lied* („Горные вершины спят в тьме ночной“ и т. д.):

Спать высоким гор вершинам,  
Спать ущелья в темной мгле,  
Волны дремлющей пучины  
И червяк в сырой земле.  
В дубри зябля, зябля глухая  
Грезит в чутком полусне,  
И дождика морская  
Спать в соленой глубине.  
Листья шопот, плещ жужжанье  
Стихи, спит глубокий сон  
Птичка, рзвое созданье,  
В теплом гнздышке своем...

И для Сафо природа жива. Для нея сияет месяц, журчит ручей, шумит листва деревьев, ревет прибой моря, поют соловьи, благоухают розы. Верховная ее богиня, богиня любви и красоты—Афродита рисуется ей среди чашечек пышных цветов, которыми одевает землю южная благодатная природа ее острова. Среди прекрасных тихих картин этой богатой красками природы Сафо умейт находить радость и отдых. Сладкое усиление охватывает ее на берегу холодного журчащего ручейка, среди мирно шепчущих листьев. Но и тогда, когда буря страсти бушует в ее груди, она умейт находить отклик в природе, она, как родственная ей душа, прислушивается к завыванию ветра. И она, как Гомер, сравнивает явление

человеческой жизни с явлениями окружающей ее природы, но какую теплоту личного чувства умейт она внести в это сравнение! Она сравнивает одинокую девушку с яблоком, одиноко краснющим на самой верхушке дерева: собиравшие с яблока плоды забыли об нем... Нет, они не забыли об нем, они не могли достать до него, оно было слишком высоко для них. И вы видите, как это яблоко оживает перед вами,—вы начинаете интересоваться им самим, его собственной судьбой, помимо его сходства с тем предметом, для сравнения с которым оно приведено. Глазниц раздвигаются грубыми ногами пастухов, и погиб пурпурный цветок! И этот короткий вздох показывает вам, как жаль поэту прекрасного цветка, и вам самим становится жаль его. Злые люди ранили птичку, и поэта описывает, как цепенет блдная птичка, как безпомощно опускаются ее легкие крылья.

Прекрасная девушка затмевает своей красотой всех своих подруг, и поэтесса изображает это так:

Свет луны средь темной ночи  
Засияет в вышине,  
Ярких звезд блднют очи,—  
Как светит им при луне?

Луна—любимое светило Сафо, к ней она возсылает свои молитвы, в ее свет рисуются ей наиболее прекрасные, наиболее дорогие ее сердцу картины любви и счастья.

Весна, соловей, цветы—у нея неразрывные темы. Цветами усянь весь тот путь, который проходит она в своих мечтах. Ее богини—Афродита, муза и хариты,—прекрасная молодая богиня. Афродита покоится среди роз, хариты благосклонно смотрят на девушек, увенчанных цветами; они отворачиваются от них, если на них нет венков. Прекрасная девушка рисуется ей в образе цветка, но и среди цветов, в пыльном венке на кудрях. „Увенчанной фиалками Сафо“ называет ее ее поклонник Алкей.

Но природа занимает в душевной жизни Сафо только сравнительно скромное место; она только аккомпанимент, только фон, на котором развивается эта душевная жизнь. Ее главный владетель—„вжная страсть“, Эрот, мучительный, непобедимый, всепоглощающий. Она вся во власти Афродиты, и к ней она прибегает со своей молитвой:

С высоты многощитного трона,  
Струя хитрых козми в тиши.  
Не отвергни молчаливого стона  
Удрученной тоскою души.

О, приди—вд и в годы былые,  
На мольбу мою слух преклоня,  
Громовержца чертоги златые  
Ты покинуть могла для меня.

Голубей многокрылая стая  
Колесницу твою понесла  
И зира струи раская,  
Полетла к земл, как стрела.

И, сияя бессмертной красою,  
Вдруг предста ты ми на вая  
И спросила, что стало со мною,  
И тебя для чего я зову.

Говорила: „чего же ты хочешь?  
Иль скорбишь, без ответа любя?  
Кто упрямый, о ком ты хлопчешь?  
Кто не цнйт,—о. Сафо, тебя?.

Пусть теперь он тобою не занят:  
Он полюбит тебя без уны;  
Пусть дичится,—потом не отстанет.  
Хоть бы ты охладла сама“.

Так приди же и ныне, благая,  
Моя злая кручина расся,  
И, желаня мои исполняя,  
Будь союзницей вьрой моей.

Сафо страдает от неразделенной любви, страдает не впервые; с теплой вьрой молит она о помощи Афродиты, испытанную союзницу и покровительницу. Мы знаем, как сильно она умла любить,—мы знаем теперь, как сильно она умла и страдать. Страдания неразделенной любви, неудовлетворенной страсти, горькая мука равности—все это выпало ей на долю, все это вылилось в ее стихи. И от всего этого богатства нам остались только скудные отрывки, по которым мы едва можем различить слабый контур той картины, которая приводила в восторг Горация и которую, по его словам, любовались даже тины умерших в подземном царств.

Мы знаем уже, какова была любовь Сафо,—мы знаем об ее отношениях к ее подругам. Каковы были ее отношения к мужчинам нам трудно с уверенностью сказать. Говорится ли в только что приведенном нами стихотворении о мужине, или о женщине, мы тоже не знаем: толкование покоится на слишком зыбкой почве догадки. О. Е. Корш, которому принадлежит перевод и этого стихотворения, приняв эту догадку, но это дело личного взгляда. Текст оригинала не дает ясного ответа.

Уже Аристотель знал о маленьком романе, разыгравшемся между двумя величайшими представителями эолийской лирики,—Алкеем и Сафо.

Алкей посвятил Сафо стихотворение, из которого сохранился отрывок:

Прекрасная, чистая, с светлой улыбкой Сафо!  
Сказал бы я слово, но стыд заставляет умолкнуть... \*)

На это робкое признание Сафо ответила стихами:

Коль были бы чисты твои желанья,  
Открыто рчь бы с усть твоих лилас,  
Бы стыд ты не искал бы оправданья,  
В смущении не опускал бы глаз.

Отвѣт, быть может, не заслуженный, но во всяком случае вполне достаточный, рисующий нам Сафо далеко не с той стороны, с которой мы знаем ее по ее любовным стихотворениям. И это не единственный случай. Не одного Алкея очаровала светлая улыбка Сафо. Уже молодого она умла привлекать сердца, но в этом позднем романе у нея хватило такту, чтобы заявить молодому взыхателю:

Ты ми миль, но страсти ложе  
Для другой ты приготовь,—  
Пусть другая, помоложе,  
Подарит теб любовь.

\*) Собственно говоря, сохранилось два разрозненных отрывка. Приведенное же текст соединение обязано своим происхождением несыма православной догадке.





И сама поэтесса не ушла от этой власти, не всегда и не везде отъезжала она так, как отъездила Аллею, не всегда оставалась она неуверительной ко мужской красоте, — она пережила «волненья страсти нѣжной», и у нея было дружба, въ прекрасные глаза котораго она глубоко заглядывала. Была ли она женой, мы не знаемъ. Если наши памятники называютъ намъ имя ея мужа, то всѣмъ, знакомымъ съ греческимъ языкомъ, сразу разглядятъ, что въ этомъ имени скрывается грязная насмѣшка надъ поэтессой. Но любовницей и матерью она была несомнѣнно; лютно, которое налагаетъ на нее ея страсть къ многочисленнымъ «подругамъ», отчасти сымто тво нѣжную любовь, которую она питаетъ къ своей маленькой дочери Клендѣ, своей прекрасной дѣвчонкѣ, похожей на золотая почка цвѣтовъ, своей

О Левкадской скале существует целый ряд рассказов. Одна из несчастно-влюбленных в Фана дель-Гарго, покончила свою жизнь и страдания роковым прыжком с этой скалы. С тех пор, рассказывают древние, ежегодно являются люди, которые бросаются с этой скалы за известную плату. Ежегодно в праздник Аполлона скалы сбрасывают нескольких преступников, но принимают при этом мзды для того, чтобы сделать их падение возможно менее опасным, — внизу их поджидают люди с лодками, чтобы вытаскивать их из воды. Общественно, очевидно, одна из многочисленных в древности форм символического заманчивого жертвоприношения Аполлону. Цель этой преданий, приуроченных к этому обряду, заключается в том, как о средствах избавления от

раздѣленной любви. Апполонъ очищаетъ отъ нея, какъ онъ является спасителемъ отъ всякаго другаго безумія.

Въ эту комически-мигическую обстановку и поставлена нашимъ преданіемъ исторія Сафо. Молодой любимецъ Афродиты умѣлъ безповоротно плѣнить ея сердце; сдѣлалъ ли онъ эта намѣренно, или она не устояла противъ его красоты, какъ и всѣ другія лесбіянки, — объ этомъ различныя версіи сообщаютъ различно. Точно также различны рассказы и о дальнѣйшемъ теченіи романа. Если одни рассказываютъ, что Фаонъ тотчасъ же отвергъ страсть своей знаменитой поклонницы, то другіе говорятъ о тянувшейся нѣсколько лѣтъ любовной связи, кончившейся охлажденіемъ любовника. Какъ бы то ни было, въ концѣ концовъ Сафо отвергнута; и страданія нераздѣленной любви заставляють ее броситься съ пресловутой скалы — для того ли, чтобы излѣчиться отъ нея, или чтобы покончить съ собой, этого въ древнѣйшихъ по крайней мѣрѣ версіяхъ съ точностью установить нельзя. Къ слову сказать, древнѣйшая версія восходитъ только къ памятнику начала III-го вѣка до Р. X. — слѣдовательно, къ сравнительно очень поздней эпохѣ.

Такимъ образомъ вся прославленная исторія Сафо и Фаона становится фантастической, — она есть измышленіе позднѣйшаго времени. Несмотря на романтическій ореолъ, которымъ она окружаетъ Сафо, основывается на хронологическомъ недоразумѣніи. Сафо во время ея самоубійства должно было бы быть около 60 лѣтъ — изъ прекрасной героини Грильпарцеровской драмы, сіяющей блескомъ красоты, она превратилась бы во влюбленную старуху, преслѣдуемую своей запоздалой страстью молодого красавца. Въ этомъ случаѣ правда прекраснѣйшаго вымысла. Мы должны отказаться отъ фантастическаго романа, мы должны отказаться отъ ближайшаго знакомства съ личностью поэтессы, но намъ остается лучшее, что было въ ней, — ея служеніе Афродитѣ, харитамъ, музамъ, служеніе высшей изъ службъ, вѣчными произведеніями искусства.

Красота и поэзія, а не та или другая случайная страсть — вотъ въ чемъ содержаніе ея творчества. И среди ученицъ своей школы она распространяла тотъ же культъ красоты и поэзіи. Ея чарами она скрасила жизнь родного города, благодаря ей облеченнаго и въ нашихъ глазахъ поэтическии ореоломъ. Въ ея пѣсняхъ находили лучшее выраженіе стоихъ чувствъ лесбосская дѣвушка, жена, мать. Ея пѣсни сопровождали каждое выдающееся событіе личной жизни лесбосца. Къ вѣнку невесты она прибавляла лучшій вѣнокъ своей поэзіи, на могилу молодой дѣвушки она клала цвѣты своего искусства. Къ ея участию прибѣгали при наибольшемъ изъ семейныхъ торжествъ — при торжествѣ чистой дѣвушки, — свадьбѣ. Свадебныя торжества у древнихъ сопровождалась полуобрядовыми пѣснями въ честь бога брака Гименей — такія пѣсни составляла Сафо. Какое было ихъ значеніе и ихъ характеръ, объ этомъ мы можемъ судить благодаря произведеніямъ Катутла, отъ котораго сохранились двѣ такихъ пѣсни, двѣ такихъ гименей, изъ которыхъ одинъ несомнѣнно, по крайней мѣрѣ въ значительной части, переведенъ изъ Сафо. Конечно, съ точки зрѣнія современной pruderie въ этихъ гименейхъ можно замѣтить не одну черточку, которая можетъ непріятно поразить излишне шекотливые умы. Здоровый народный юморъ, не сдерживаемый никакими преградами условной скромности, находить себѣ въ нихъ полный просторъ; шутки надъ невестой и женихомъ весело перемежаются съ серьезными пожеланіями хора, — шутки, то рѣзко пріяны, какъ у Катутла, то наивно игривы, какъ у Сафо, смѣющейся надъ долговыми женихомъ.

Двери повыше, повыше—

Гименей!

Плотники, вы подымите,—

Гименей!

Входитъ женихъ, на Ареса похожій.

Ростомъ изъ самыхъ высокихъ высокій.

Но основное ядро гименей — всегда глубоко серьезно, глубоко нравственно. Въ немъ говорится о жизни дѣвушки, объ ея стыдливыхъ мечтахъ, говорится о любви юноши, о будущей жизни семьи и ея задачахъ, ея счастья — тайна брака вызываетъ самая чистыя помысленія человѣческой души.

Какъ подъ ногой пастуха глѣнцы на горахъ,  
погибаютъ,

Съ сломаннымъ стеблемъ къ землѣ преклонивши  
свой вѣнчикъ пурпурный.

Сохнетъ и блекнетъ въ пыли и ни чихъ ужъ  
не гудетъ взоромъ,—

Такъ же и дѣва, утративъ цвѣтокъ цѣломудрія,  
гибнетъ.

Дѣвы бѣгутъ отъ нея, а мужчины ее презираютъ.  
О, приходи поскорѣ, Гименъ, приходи Гименеосъ!

Какъ на открытой полянѣ поза виноградная,  
прежде

Бывъ одинокою, къ вязу прильнетъ, сочетавшись  
съ нимъ бракомъ,

И до вершины его обвиваясь своими вѣтвями,  
Радуется взоръ виноградаря пышностью листьевъ  
и гроздй,—

Такъ и жена, сочетавшись въ юности брачнымъ  
союзомъ,

Мужу внушаетъ любовь и утѣхой родителямъ  
служить.

О, приходи, Гименей, приходи Гименеосъ!

Не на одну радость семьи отзывалась Сафо, — и горе ея въ ней находило отзвукъ. Молодой красавицѣ не суждено было услышать веселыхъ звуковъ Гименей — и вмѣсто него изъ груди Сафо вырывается печальный вздохъ эпитафии:

Подъ этой урной спитъ красавица Тиманта,  
Она скончалась, не зная брачныхъ узъ.

Геката приняла ее въ чертоги ада,  
А здѣсь объ ней поетъ печальный голосъ музъ.

Подруги въ горести, разставшись съ кудрями,  
Которая досель по персямъ ихъ вились,

Сложили ихъ на гробъ, подъ сонный кипарисъ,  
Какъ дань красавицѣ, межъ юными цвѣтами\*).

Такова была эта дѣлчашая изъ служительницъ музъ, которая когда бы то ни было рождалась подъ небесами. Она, если не проложила, то утвердила новый путь въ искусствѣ, она сумѣла найти поэзію въ той скромной долѣ, которую судьба удѣлила греческой женщинѣ, сумѣла найти звуки для всего того міра чувства, въ которомъ она жила. Она единственное въ своемъ родѣ явленіе, но явленіе вполне законное. Въ ея лицѣ женщина внесла въ греческую литературу высшій элементъ всякой лирики, — жизнь личнаго чувства.

М. Мандель.

\* ) Подлинность стихотворенія сомнительна.